

## Камера-обскура

В пятьдесят восьмом году ему было ровно сто. А мне — десять. Он появился на свет за три года до отмены крепостного права. Да что там крепостное право! Даже Ленин должен был родиться только через двенадцать лет! Сколько же всего он увидел, пока меня не было на этом свете! Однако не он, а старинные дома и деревья были для меня настоящими старожилками, и я специально иногда трогал их, представляя, что, может быть, именно этого места касались те, кто жил во времена Пушкина... Казалось бы, живой, говорящий человек — это вам не платан на бульваре, ан нет — для меня этот живой человек был только жалким смешным стариком. Когда я думаю о старике Шулемовиче сегодня, времена, как слои дыма, проступают одно сквозь другое, и о прошедшем времени я начинаю говорить в настоящем...

Инициатор этой идеи Костя Дервянко. Идея старая (мне еще папа рассказывал), но я забыл. А Костя, молодец, вспомнил. Роли распределены: я у окна, Костя — за выступом стены, остальные в качестве зрителей уже сидят за бревнами. Почти совсем темно. Главное — неслышно вколоть в раму окна иголку. Там за стеклом глубокая, как подвал, квартира. Даже от окна тянет сыростью. Окно старое, ветхое, начинается у самой земли. От иголки тянется нитка, к ней подвешен камешек, а от него — опять нитка, но уже длинная. Ее конец в руках у Кости. Моя задача неслышно, но крепко всадить иглу в оконную раму и быстро свалить, а Костина — начинать представление.

"Тук-тук" — деликатно постукивает камешек в стекло старика Шулемовича. "Тук-тук-тук".

Медленно открывается форточка. Раздается громкий, сильный, скрипучий голос:

— Кто это? Циля, это ты так поздно? Что ты хочешь в такое время? Ну, говори, я уже встал и открыл!

Циля это соседка. Она живет в пристроечке напротив и часто через окно одалживается у жены старика Шулемовича всякими солью-содой-луковицей. Женщина решительная, без комплексов и тоже громкоголосая.

— Циля, говори уже, я уже все равно не в кровати!

Раздается, наконец, мощный бас Циля.

— Шулемович, что вы хотите? Давайте завтра, я уже сплю.

— А я, между прочим, уже нет, — говорит сам себе Шулемович. — Хорошенькое дело! Она спит. Что мне — приснилось?

Медленно закрывается форточка. Как они там не задыхаются? Плотная летняя одесская ночь: и темно, и душно. Ждем минут пять. Костя снова деликатно стучит. Снова медленно открывается форточка.

— Ой, я, кажется, сейчас кому-то выйду и кому-то спрошу "кто там"! Кому-то сейчас будет мало места...

А рука уже шарит вокруг форточки, пока не наткнется на нитку с камешком.

— Фарбрент зол зей верн!.. — бормочет Шулемович себе под нос непонятные заклинания, но я знаю, что это он нас так костерит. Интерес пропадает — слишком легко он сообразил, что происходит. Вот папа мне рассказывал, что у них в Житомире он, когда еще был пацаном, проделывал штуку смешнее. У соседа была железная двускатная крыша. Папа брал два ореха, раскалывал их пополам, съедал содержимое, а пустые скорлупки надевал на лапы кошке, как костяные ботиночки. А потом забрасывал соседу на крышу. Кошка, как подкованный арабский скакун, с грохотом скакала наверх к коньку, но не доскакивала и с душераздирающим скрежетом съезжала к краю крыши. И снова: тудук-тудук-тудук — наверх, и жж-жж-жж — вниз... Сосед гонялся за папой со шваброй, но папа удирал. (Я всегда представлял себе, как он удирал, но в моих фантазиях он не был ребенком: удирал в том виде, в каком я уже застал его.) Были, правда, в этой истории серьезные неувязки, но это не мешало мне восхищаться идеей. Хотя кошку было, конечно, жалко. Да... А Шулемовичу такого не устроишь. Крыша плоская. Да и дом — трехэтажный.

Шулемович женился четыре года назад. Его первая жена умерла уже очень давно, но нарушить свое одиночество он решил только тогда, когда почувствовал, что силы резко пошли на убыль. Молодым его, конечно, никто уже не помнит, но пожилые соседи рассказывают, что он был крепкий старик. Новую жену зовут очень смешно — мадам Бритва. Однако все быстро привыкли к этому имени. Мадам Бритва маленькая, с простым, почему-то славянским, лицом, в толстых очках (на все смотрит, сильно прищурившись) и с грубым голосом старой училки, годится скорей в дочки, чем в жены Шулемовичу. Она моложе его на двадцать четыре года. Когда соседи спросили ее, зачем она вышла замуж за эту развалину, она строго ответила: "Любовь! Я влюбилась в его подвал с первого взгляда..." — и прищурилась. И все поняли, это не брак по расчету: кто видел квартиру Шулемовича, тот знал — рассчитывать там было не на что.

И вот уже четыре года мадам Бритва ревниво заботится о старике и относит к нему, как к непутевому внуку.

Во дворе представление: Шулемович задумал лишить жизни своего петуха. Действие происходит в сарае, который Шулемович переоборудовал в курятник. Петух зажат между тощими коленями старика. В левом кулаке Шулемовича, как граната, стиснута петушиная голова клювом вверх, в правом — большой нож. Все знают, что дело здесь не в бульоне — Шулемович боится этого бандита. Он не может зайти в сарай, петух его не пускает.

— Ничего, — сам себе бурчит старик, — так будут диетические яйца. Они, — он бровями показывает на кур, — как-нибудь обойдутся без тебя.

Мадам Бритва стоит рядом и осуждающе смотрит на петуха. В этом конфликте она явно на стороне мужа и результат считает закономерным. Мы расположились тут же, за ее спиной. Нам видны колени Шулемовича и розовое горло приговоренного. Раздался крик (то ли петуха, то ли Шулемовича), брызнула кровь — и белый ком окровавленных перьев проносится мимо нас на середину двора. "Ой! Вейзмир!" — заполошно всплескивает руками мадам Бритва и отскакивает назад, наступая мне на кеды. Следом за недорезанным петухом семенит старик Шулемович с ножом в руке. Его лицо забрызгано кровью, он похож на Ивана Грозного с картины Репина. Видно, что у петуха сил больше. Он носится по двору, и Шулемович не может его догнать.

— Азохн вей! — бормочет он, задыхаясь и спотыкаясь. — До чего я дожил! И дальше что-то по-еврейски.

Мы заходимся от смеха.

— Что вы смеетесь, мамзерим! Он же в сто раз моложе!

Мадам Бритва смотрит на эту беготню и говорит не столько нам, сколько сама себе: "Тут дело уже не в бульоне. Тут уже кто кого!".

Шулемович не единственное наше развлечение. Концерты у нас, как правило, во дворе (скандалы, драки, изысканные витиеватые проклятия), а кино — на улице. Метрах в пяти от уличного фасада нашего дома растет старая ветвистая шелковица, дарящая нам и хлеб, и зрелища. Мы развалились на ее ветвях, жуем ее горячие пупырчатые ягоды и, глядя в окно Жанны, — задолго до появления видеопиратских салонов — наслаждаемся жестким порно. Жанна не профессионалка, все сплошная кондовая самодельность, но нам хватает. Нам не до эстетики. То, что мы видим в этом волшебном окне на третьем этаже, раскручивает нашу фантазию до

художественных высот. Жанна водит к себе самых непотребных клиентов и принимает их иногда одна, иногда — с подругой. Сплошная пьянь, а значит — мат, скандалы, проклятия. То же, можно сказать, что и во дворе, только с картинками. Но всему приходит конец. Однажды (это уже было году в шестидесятом) мы увидели, как во время пьяной драки голая Жанна наступила на разбитую бутылку и просто распорол себе ступню. Истекая кровью, она выскочила, как была, на лестничную клетку. Мы слетели с шелковицы и уже в парадном виде, как она стояла на верхней площадке, непристойно задрав раненную ногу на перила, и орала пьяным голосом, пока не приехала милиция и скорая. Жанну зашили и выслали за какой-то километр. Так жутко кончилось тогда это главное из искусств. Потом, став взрослым, я заглянул как-то в наше парадное, где давно уже жили совсем другие люди... На самом вершине лестницы, под перилами верхней площадки я различил черные потеки, почти совсем слившиеся с многолетней грязью. Вряд ли кто-нибудь, кроме меня, помнил, что это след кровавого финала карьеры местной порнозвезды.

Пятьдесят восьмой год. Мы первые во всем доме купили телевизор. У нас всего одна комната, нет никаких удобств (те интимные, что есть, стоят за ширмой: в семье пятилетний ребенок и семидесятилетняя бабушка). Вечером наша маленькая комната набивается соседями. Приходят со своими табуреточками и рассаживаются перед маленьким холодильником, на котором стоит телевизор. Гасится свет, и все смотрят очередной "художественный фильм". Концерты, новости, сатирическая передача "Объективный объектив" наших соседей не интересуют. Приходят, как в кинозал, к началу фильма. Дети сидят отдельной группкой от взрослых. Рядом со мной почти всегда — Мила, сестра Кости Деревянко. Она моя сверстница. Когда гасят свет, и Мила освещена только телеэкраном, она кажется мне красавицей. Я, дурея от страха, осторожно кладу руку ей на спину и ладонью охватываю плечо. Темно, никто ничего не видит, но если она сейчас громко возмутится, я помру от разрыва сердца. Я чуть притягиваю ее к себе. Все обходится. Мила молчит и внимательно смотрит кино. У нее такой вид, будто она и не заметила моих маневров. На экране по болоту пробирается шпион. И на болоте, и в зале напряженная зловещая тишина. Все подалось вперед. У Милы замерло дыхание. Моя бабушка открыла рот и держит рукой очки. Мама застыла с тарелкой и полотенцем в руках. Вдруг громкий хлопок разрывает невозможное напряжение фильма. Это папа хулигански хлопнул ладонью по крышке стола, на кото-

рой стоит звонкая от ложек и вилок посудосушилка. С воплем "Оп-пай заяц!" мадам Бритва оказывается на полу. Она ближе всех сидела к папе и, высоко подскочив от испуга, слетела с низенькой табуретки. Все истерически смеются, но это смех без удовольствия. Что же делать, если бесстрашный папа сам шпионов не боится, а над нашими страхами потешается! Мама очень на него сердита, она совсем не смеется. Только мадам Бритва невозмутима.

— Когда я смотрю такое кино, я переживаю, как девочка! — объясняет она зрительному залу. — Я забываю, где я есть.

Мадам Бритва частая гостья бабушки. Моя толстая, седая, носатая бабушка уже несколько лет не выходит из квартиры ("Нечего мне таскать свой тромбофлебит по улице! Нам с ним и дома хорошо"). К ней приходят разные соседки. Кто посоветоваться, кто обменяться кулинарными образцами. Но только мадам Бритва приходит посплетничать на идише. Далеко не всегда я выдерживаю эти беседы. Я ничего не понимаю и стараюсь поскорее убраться на улицу. Иногда, правда, стихия разговора выносит собеседниц за пределы идиша в родной для меня русский, и тогда я удивляюсь фривольности их воспоминаний. Для меня, десятилетнего, такие разговоры старших невыносимы. Конечно, они говорят на разные темы, но в память западает только то, что кажется невозможным.

— ...она говорит мне: "Боже упаси, что вы себе выдумываете! В жизни он этого не дождетя, чтоб я так жила!". А в самой середине ночи мы все уже не спим: с такого скрипа, как у ее кровати, может спать только мертвый... Я ей утром: "Ну?", а она: "Ой, бросьте, что ну! Нет никакого ну!". А через девять месяцев — получите Серожу! Пять кило, нивроку....

Сам Шулемович к бабушке не приходит. Ему не до бабских сплетен, он живет другой, мужской жизнью. Утром он исчезает куда-то и появляется во дворе поздно вечером. Он знает, кто из нас его дразнит и возвращается, когда может, свои мелкие долги. Он стоит, вроде задумавшись, и, когда мимо него пробегает кто-либо из его мучителей, он вдруг хватается за рукав и прищуривается, как Старик Хоттабыч. Он вообще похож на Хоттабыча: тощий, лысый... Вот знаменитой бороды нет, скорее — клочковатая небритость... полусогнутые ноги, сутулая спина, шаркающая походка, вечный парусиновый костюм и грязная шляпа. Он прищуривает один глаз и спрашивает:

— Боренька, ты слышал?

— Что, дедушка?

— Как из жёпи дух вишел?

И стоит с таким серьезным и невинным видом, будто и вправду прислушивается...

Зимой к мадам Бритве приехали дети с внуком "Серожей". Старик обнаружил вдруг наивное тщеславие. Он ходил с ребенком по двору, и все соседи видели, что он дед, что у него семья. Он остановил одного из нас, мерзавцев, Алешу Хлусова, и очень дружелюбно поинтересовался:

— Лошик, у вас будет елка?

— Будет, дедушка. Конечно, будет.

Шулемович постоял молча, почти умильно глядя на Лешу...

— А у нашего Серожи будет лучше!

Я никогда раньше не был у них в квартире. Поэтому, когда бабушка послала меня к мадам Бритве взять что-то там кулинарное, чем они все время обменивались, я пошел охотно и с давним любопытством: у таких странных и древних людей и жилищу полагается быть — древним и странным. Мои предположения оправдались.

Когда я потянул на себя их дверь, я удивился, как они сами справляются с такой мощной пружиной. Солнце из-за моей спины буквально ворвалось в их мрачную средневековую прихожую и осветило несколько каменных ступеней, круто ведущих вниз. Тень от меня скатилась по этим ступеням, ломаясь на каждой из них, и головой уперлась во вторую дверь, за которой они и жили. Первая дверь хлопнула за моей спиной и, как гильотина, отсекала солнечные лучи. Наступил мрак. Я стал медленно, на ощупь спускаться. На третьей ступеньке я уже чуточку свыкся с темнотой, до двери оставалось еще ступеньки четыре, как вдруг я обомлел. Прямо перед собой, над черной дверью я увидел нашу улицу. По стене беззвучно пронеслась "Победа", навстречу не спеша прокатилась телега с лошадьё, прошла женщина в ярко-красном пальто, еще пара машин, еще люди навстречу друг другу... И все это — головой вниз! Цветное перевернутое кино! Я оглянулся, как часто оглядывался в кинозале. Из темноты над моей головой рвался конусообразный луч и упирался в стену. В луче вились пылинки. Все, как в кинозале. Я еще немного постоял, посмотрел кино, а когда мимо, по стене прошел Костя с полойным ведром (вниз головой!.. и Костя, и ведро!), я сел на ступеньку и попытался повернуть голову, чтобы видеть все правильно. Насмотревшись, я вернулся к двери. Почти в ее центре было круглое отверстие от механического звонка, который недавно сняли, и вместо него сбоку от

двери установили электрический. Именно через эту дырочку наша улица проникала в прихожую Шулемовича.

Я не знал, сколько времени уже длился этот неожиданный киносеанс, но уходить не было сил. Никто из проходящих сейчас по улице и не подозревал даже, что я вижу его на этом экране, уменьшенного, перевернутого, живого... Не тень от него, а свет!..

Я и забыл о нижней двери. Она открылась так внезапно, что я вздрогнул. Свет резко ударил по глазам. В сиянии проема стоял силуэт мадам Бритвы. Резкий учительский голос вернул меня на землю:

— Ну, что ты торчишь в темноте, герутенер? За смертью тебя посылать, халамидник! Иди уже, иди — все остыло. Сейчас ты получишь от бабушки — тебе будет темно в глазах.

Она не видела меня. Она и не могла меня увидеть в этой темноте, как бы ни прищурилась. Просто бабушка предупредила ее, когда я могу прийти. Я готов был дать голову на отсечение, что она даже не подозревает о чуде в своей прихожей. Хотя и не мудрено — с таким зрением...

Бабушка поражает меня неожиданной образованностью. Мой рассказ о перевернутом кино ее совсем не удивляет. Она идет к нашему единственному окну, закрывает ставни, оставляя тоненькую щелочку, и говорит: "Смотри!". Через несколько секунд я вижу на противоположной стене почти то же, что видел у мадам Бритвы. Те же машины, те же пешеходы, только вытянутые и размазанные. (Резкость!.. Сапожник!..)

— Чем ты занят в школе, оболтус? Тебе уже нивроку десять лет, уже можно что-то знать! Ты слышал такое слово "камера-обскура"?

— Нет... — растерянно признаюсь я.

— Так чтоб ты знал: это ты видел камеру-обскуру.

Она улыбается, как человек, показавший вдруг, что его еще рано списывать.

— Даже у нас в школе, хотя в гимназии я не училась, была своя камера-обскура. Не такая большая, как на лестнице Шулемовича, но тоже — ничего. На колесиках, как аппарат в фотосалоне. У нас, между прочим, был молодой учитель (как сейчас помню, Меир Кац, из Полонного... рыжий такой... красавец!), так он так рисовал на стекле этой камеры — мое почтение! Направит на тебя (ты сидишь, не шевелишься) а он на тебя даже не посмотрит — рисует прямо на камере. Выходило — лучше, чем на фотографии. К нему очереди стояли!..

— Бабуль, а что такое "обскура"?

— Темнота!

— Слушай, — раздражаюсь я, — если знаешь, так возьми и объясни. "Темнота!" Сама же говорила, спросить не стыдно...

— Не... — смеется довольная бабушка, — Ты не понял. "Обскура" это "темнота". По-латыни.

Обскура... Я почему-то вспомнил сарай Шулемовича и казнь петуха.

Камера-обскура потрясла меня. Падающая от человека тень была мне понятна. Я так и говорил: от него падает тень. Но чтобы от человека падал свет! Сколько дырочек в стенах, окнах, дверях окружает меня, когда я иду по улице! В скольких квартирах я прохожу по стене вниз головой — уменьшенный, живой, цветной, настоящий — лучше, чем в телевизоре! Это же любая замочная скважина годится... А то, что вниз головой... Вот в школе рассказывали, что когда мы рождаемся, мы сначала все видим вниз головой, а потом привыкаем... Так что, еще не известно, где вниз головой. Может, в камере-обскуре как раз все и правильно — это наши глаза переучились. Я стал ходить по улицам, стараясь не сутулиться, не ковырять в носу, не замирать в дурацких позах. Я понимал, что ОТ МЕНЯ ПАДАЕТ СВЕТ, и нужно быть всегда начеку: как увидят меня те, кого я не знаю? Достаточно того, что я вниз головой.

Теперь я старался не пропустить возможности забежать к мадам Бритве с каким-нибудь поручением. Меня даже не смущал постоянный, восковой какой-то, кладбищенский запах, источник которого был мне непонятен, ведь в их квартире никогда не прерывался кулинарный процесс. Вот у нас в квартире всегда пахло замечательно: или жареная картошка (с чесноком), или жареные котлеты (тоже с чесноком), или, в крайнем случае, — жареная рыба. А в другие дни — ваниль, кофе, горячий хлеб... Квартира Шулемовича всегда пахла похоронными венками.

Просто так я зайти не решился, потому что никому, кроме бабушки, о своем открытии не рассказал. Мне было страшно интересно узнавать на стене Шулемовичевской прихожей знакомых, а признаться, что я подглядываю, было стыдно.

Однажды бабушка послала меня к мадам Бритве рано утром, еще перед школой (за какой-то солью-содой). Солнце на улице еще не разгулялось, и кино было тусклым. Я не стал задерживаться на лестнице, а сразу постучал в дверь. Это был первый раз, когда я застал старика Шулемовича дома. Он сидел за столом, и в полумраке их комнаты я увидел вдруг, что на лбу у него торчит какой-то кубик, сам Шулемович (так мне показав-

лось) опутан тонкими ремешками, а голова и плечи его покрыты длинным полосатым полотенцем. Шулемович бормотал что-то и, покачиваясь взад-вперед, усиленно кивал головой, как будто с кем-то все время соглашался. Старик Хоттабыч, который наколдовывает пасмурный день. На столе лежала книга с золотыми буквами на обложке. Она лежала, как в футляре, в центре малюсенькой, тесной и почему-то всегда холодной комнаты Шулемовича, комнаты, которая, как потертым бесцветным бархатом была отделана изнутри ветхостью и нищетой. Книга сверкала золотом, неуместным в этом нерезком полумраке, и снова возникла у меня ассоциация с Хоттабычем. Или, может быть, с Аладином, в нищем доме которого сверкала золотом волшебная лампа.

Мадам Бритва не обращала внимания на колдовство мужа, а отсыпала и упаковывала мне то, за чем я явился. А тот вдруг неожиданно все свернул, сложил (я поглядывал то на него, то на нее) и посмотрел на меня ожившим человеческим глазом.

— А я знаю, — сказал я ему, чтобы стряхнуть с себя замороженность, — это еврейские буквы.

— Что ты говоришь! — неподдельно изумился Шулемович. — И откуда, предположим, ты это знаешь?

— А моя бабушка читает книжки с такими буквами.

— Да? — старик резко вздернул косматые брови.

— Да, да! — сказала мадам Бритва. — А ицн паровоз! Ну? Так она читает книжки! Что ты пристал к ребенку?

В этот день Шулемович в первый раз заявился к нам в гости. То есть, не к нам, конечно, — к бабушке.

Папа Кости Деревянко, дядя Петя, — алкоголик и футбольный фанат. Его жена, тетя Поля, жалуется моей бабушке, что у Пети, мол, всего три причины выпиться: Черноморец выиграл, Черноморец проиграл, Черноморец сегодня не играет. Моя мудрая бабушка, не знает, что посоветовать, это, может быть, единственный случай, когда она растеряна: у нее нет опыта жизни с пьющим мужем. Обе вздыхают. В самых крайних случаях футбольных переживаний дяди Пети тетя Полина обычно бежит к моему папе — папа знает, что делать. Когда дядя Петя бушует, бывает достаточно того, что папа просто вошел в комнату — буря моментально утихает. Папу дядя Петя боится и уважает. Но когда хмель сильнее инстинкта самосохранения, папе приходится поступать решительно. Через часик проспавшийся дядя Петя просит, чтобы его развязали, и клянется, что теперь — никог-

да. У дяди Пети еще с войны не сгибается нога, и папа, тоже фронтовик, поддразнивает его старой фронтовой дразнилкой, попадающей в ритм хромого шага: "рупь-пять, два-десять". Дядя Петя добродушно отзывается. Для него папа свой, такой же, как он сам, только старше по званию.

Очередное представление. Дядя Петя стоит на балконе второго этажа пьяный в дымину и горячими слезами оплакивает поражение Черноморца. Он чувствует себя на трибуне и все делает чересчур: хрипло орет, рвет на себе рубашку, закидывает негнущуюся ногу на перила. Народ останавливается, волнуется, это подогревает дядю Петю еще больше. Наконец изувеченная нога забрасывается на перила чуть более эмоционально, чем тема того заслуживает, и дядя Петя со всего маху шлепается спиной об асфальт. Женский визг, мужские выкрики... Мне с моего балкона видно, как толпа быстро и тесно обступила лежащего. Из парадного вылетает белая (как мед, как смерть, без кровинки в лице) тетя Полина, мечется между людьми, расталкивает их, плачет, кричит: "Дайте ему дышать!". От испуга и отчаяния она не соображает, что нужно сделать, она бросается к каждому, кто на нее смотрит — может, он скажет.

— Что? — кричит она. — Что надо делать?

Кто-то уже окатил дядю Петю водой из ведра, кто-то — побежал к автотомату вызывать скорую...

Я вижу сверху, как в толпу втирается мадам Бритва. Она уверенно распахивает локтями столпившихся и говорит с напряжением сама в себя:

— От-т-тойдите все!.. Дайте ему дышать... Что вы к нему прилипли...

Вот она уже в первых рядах, тянет зажатую толпой кофту.

— Полина! — громко, по-учительски, восклицает она и, сильно сощурившись, вглядывается в лежащего дядю Петю. — Полина, слушай сюда!

Все замолкают, все смотрят на мадам Бритву, и тетя Поля с надеждой бросается к ней.

— Полина! — мадам Бритва указывает пальцем на дядю Петю, а потом на балкон. — Полина, он что... упал?

Столбняк тети Полины длится не более секунды. С искаженным лицом она обеими руками ударом отталкивает от себя эту нелепую мадам Бритву. Она отталкивает от себя эту глупость, этот идиотский вопрос, эту дикую помеху. И маленькая, старенькая мадам Бритва летит вперед спиной на руки неуместно смеющейся толпы.

Дядя Петя выжил тогда без особых потерь.

Когда Шулемович приходит к бабушке, бабушка забывает русскую

речь. Они часами говорят о чем-то для меня таинственном, вместе листают наоборотные книжки.

— Бабуль, а почему ваши книжки сделаны наоборот, открываются не туда?

— Умник! А кто тебе сказал, что именно так — это наоборот? А почему не ваши наоборот?

И я вспоминаю про перевернутое изображение камеры-обскуры.

Все разговоры уже после ухода Шулемовича.

— Бабуль, я у Шулемовича видел такие же книжки.

— Не... У него ты видел на древнееврейском, а у нас — на просто еврейском.

— Что это значит?

— У нас — на идиш, а у него — на иврите.

— Бабуль, а ты знаешь на древнееврейском?

— В школе учила.

— Ну, скажи, хоть что-нибудь.

Бабушка думает, потом говорит строго:

— Кол ойхел ба шук, ке дойме ле келев.

— Ну, и что это?

— Это слова, которые именно тебе стоит взять в голову. "Кто кушает на улице — похож на собаку". Ты когда-нибудь видел, чтоб я кушала на улице?

— И вот про это вы все время говорите с Шулемовичем?

— Может быть, ваша светлость научит меня, о чем мне говорить с моими гостями? Ты хоть понимаешь, сколько он всего прожил, пока ты изволил себе родиться? Ты понимаешь, что ты видишь только самый краешек? Он старше моего покойного папы, тебе на долгие годы. Это уже, конечно, не тот Шулемович... Как я понимаю, он был мужчина — мое почтение! Сейчас это только тень Шулемовича, а не Шулемович. Он делал такие дела, что сегодняшней Молдаванке не снилось!

На следующий день, придя с работы, мама, улыбаясь, сообщила бабушке приятную весть:

— Видела вашего нового друга сегодня в городе. Прямо столкнулась к ним нос к носу.

— Ты что, ходишь в синагогу?

— Щас! Синагога! Какая синагога! Мы встретились в трамвае, совсем не нашего маршрута. Ой, вы прямо, как слепая. Весь двор знает, одна вы не знаете.

— Что я не знаю?

— Он же побирается по трамваям, как последний нищий.

— Кто? — бабушка яростно поджала губы.

— Кто! Рэбе ваш ненаглядный. Сижу сегодня в "двадцать третьем", а на Греческой, перед самым поворотом, появляется в дверях его шляпа. А я всегда думала: чего он и летом, и зимой в этой шляпе? А он ее снимает — и "Подайте на пропитание!". А как меня увидел, кивнул и шляпу нацепил, как будто это он ее снял, чтобы со мной поздороваться. И не глядя сразу сел на соседнее сиденье. А весь трамвай, конечно, посмотрел на меня. Я чуть со стыда не провалилась, а ему хоть бы что. А вы не знали? Меня уже соседи спрашивали, что он у вас делает?

— А какое им дело?

— Как, какое! Это же наше лицо, кто к нам ходит.

— Знаешь что, ему вот указывай, какое делать вам лицо! — толстый бабушкин палец плакатно ткнул в мою сторону. — А меня оставь в покое, я еще в своем уме и обойдусь без твоих указок.

Циля держит мадам Бритву за кофту и громко говорит, через каждые два слова пожимая плечами.

— Знаете что, я ни во что ни вмешиваюсь, вы в очках — вам виднее. Только возьмите и задайтесь вопросом: что вдруг? Слышите, он же никогда к ним не ходил! Ну, я вас спрашиваю! Для нас всех он старый гелемтер-молодец, а для нее — а гройсе пурец! Научная личность! Книжки они читают...

Это сцена первая. Сценический круг поворачивается, и вот мадам Бритва стоит в дверях нашей комнаты напротив бабушки.

— Зец зех аныдер! — так эту фразу воспринимает мое бездарное к языкам ухо. Но я знаю, что это "садитесь". — Вус эрцех? (Что слышно?)

Мадам Бритва тяжело проходит к стулу, зачем-то передвигает его немножко в сторону и, кряхтя, садится. У нее на голове пуховый платок, и она сидит, как бы не раздеваясь. Ненадолго, мол.

Их объяснение происходит в моем присутствии, но на идише. Я могу судить только по интонациям и мимике. И то, и другое — избыточно богато. Они спорят о чем-то, они почти поругались... Теперь мадам Бритва жалуется бабушке — и бабушка ее понимает. А вот вступила бабушка. Спорю на авторучку — она сейчас защищает Шулемовича. Для нее он мужчина — "мое почтение!". Теперь соглашается мадам Бритва. Видно, что они пришли к чему-то обоюдному, потому что меня гонят разводить примус и ставить чайник. Лично я очень доволен: с утра в квартире пахло ванилью.



Шулемович умер. От несчастного случая. Он упал в канаву, сломал шейку бедра, но главное — заболел воспалением легких. Пока его вытащили, успел простыть. Вот сто лет человеку, а его смерть оказалась для всех неожиданной. На похороны пришел весь двор. Все женщины плакали, а Циля громко что-то втолковывала мадам Бритве — единственной, кто не плакал. Только моя бабушка не вышла из квартиры. Она всплакнула дома. Папа и мама были на работе, а я, когда вернулся, застал бабушку за возней с примусом. Глаза у нее были красные, губы поджаты. Огонь сухого спирта и освещал, и окрашивал ее лицо. Я вспомнил слова бабушки, что это, мол, не Шулемович, это тень Шулемовича, и представил себе, как невероятно длинна его жизнь. Я практически и не застал ее. Она отделена от меня невидимой дверью, по эту сторону которой живу я, а по ту — он, а меня никогда не было. И еще я представил себе, что в центре этой двери есть крошечное отверстие, и сквозь него проливается таинственная, наоборотная, как еврейские книжки, жизнь Шулемовича, и Шулемович, оказавшийся со мной в одном времени, был не тенью, а наоборот — светом. Ну, не тем светом, луч которого в темном царстве, а живой проекцией своей длиннющей жизни, маленьким, цветным, живым изображением. И изображение это казалось мне смешным и перевернутым. Ведь Шулемович, живший в какие-то учебниковые времена, никогда в моем присутствии не проявил себя, как их очевидец и свидетель. В этом смысле он был ничемнее древней стены или дерева. Но вот бабушка что-то разглядела, она понимала, кто есть Шулемович на самом деле. Или хотя бы — кем он был. Для меня же он так и остался Хоттабычем-побирушкой, хозяином волшебной камеры-обскуры, о которой он даже не подозревал.

Израиль



## Фрегат

Публикуемая глава из романа одесского писателя Родиона Феденева "Граф Ланжерон" относится к тем временам в биографии одного из первостроителей Одессы, которые до сих пор оставались мало известными даже для специалистов: пребывание молодого графа Ланжерона в Америке, его участие в борьбе за независимость Соединенных Штатов от Англии.

Только 25 сентября 1882 года военный фрегат "Aigle", что в переводе означает "Орел", выбрал свои якоря у причала Ла-Рошели, под всеми парусами обогнул западный мыс с крепостью Брест и, не зажигая ночью огней, благополучно миновал посты английских кораблей, которые топили все и вся, что устремлялось к берегам Америки. Задержка в Ла-Рошели объяснялась то медленной доставкой грузов и провианта, то смотром судна морским начальством, а то попросту выгрузкой ядер из трюмов на палубу, где их подолгу и тщательно очищали от ржавчины, а потом снова опускали в трюмы.

Карьера лейтенанта де Ланжерона так или иначе проецировалась на военное противостояние Франции и Англии. Сразу после коллежа пять лет назад он начал службу прапорщиком сверх штата в королевской гвардии Версаля, а потом в чине подпоручика пехотного полка графа де Дама (приходящегося ему дядей по материнской линии) должен был принять участие в военных действиях у берегов Англии. Но эту экспедицию отложили, и граф Ланжерон уже в чине сублейтенанта служил в пехоте Лимозина, а потом в полку драгун принца Конде, где все офицеры устремляли свои взоры на американский континент: там армия Вашингтона сражалась с англичанами при поддержке французов.

Среди сухопутных офицеров на корабле лейтенант де Ланжерон с удивлением увидел графа Луи Филиппа Сегюра и виконта де Ноайля. Первый вел свой род из протестантов провинции Гиен, в Париже имел прозвище молчалиник Сегюр и был сыном военного министра, которому Александр писал о своем переводе в отряд экспедиции. Вторым был братом жены Лафайета. Им на фрегате предоставили отдельную каюту. Трехмачтовый фрегат с шестьюдесятью пушками на борту стал домом лейтенанту Александру. Команда, двести моряков, артиллеристов, обслуга разного сорта и рода, отряд инфантерии — все это помещалось в кубриках, на палубах, даже в трюмах. "Тут многолюдно, как в воскресенье на Ели-